



Прощание с Анной Ахматовой. В центре: Лев Гумилев, слева: Евгений Рейн и Арсений Тарковский, справа: Иосиф Бродский, 10 марта 1966 года

взялась рукой за сердце, я велел возвращаться. Она пососала нитроглицерин, шофер стал оги- бать белую монастырскую стену. Продолжая держаться за грудь, она сказала: «Могучая кладка, на века».

3 марта они с Ольшевской отправились в домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру, я был «прислуга за все». Добрались, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами, вышколенным персоналом — такой цеховский второго сорта. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала: «L'anne e dernie` re a` Marienbad». «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе была чуть ли не последней книгой, которую она прочла. Это замечание перекликнулось с недавним о монастыре, и оба — с заявлением, которое она время от времени повторяла в последние годы: «В молодости я больше любила воду и архитектуру, а сейчас землю и музыку».

5-го я с букетиком нарциссов поехал туда опять — 3-го, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лозинском: уже готовые вчерне, они требовали последней отделки и компоновки. Стоял предвесенний солнечный полдень, потом небо стало затягиваться серой пеленой — впоследствии я наблюдал, что так часто бывает в этот и соседние мартовские дни. Встретившая меня в вестибюле женщина в белом халате пошла со мной по коридору, говоря что-то тревожное, но смысла я не понимал. Когда мы вошли в палату, там лежала в постели, трудно дыша, — как выяснилось, после успокоительной инъекции — Ольшевская. Женщина в халате закрыла за мной дверь и сказала, что два часа назад Ахматова умерла. Она лежала в соседней палате, с головой укрытая простыней, лоб, когда я его поцеловал, был уже совсем холодный. На машине «медицинской помощи» я отвез в Москву, домой к Петровых, где к тому времени собралось несколько близких приятельниц Ахматовой, два потертых советских чемодана с ее бумагами и узел с одеждой. Тело отправили в морг института Склифосовского. Это бывший Странноприимный дом Шереметевых, на нем тот же герб (Deus conservat omnia — Бог сохраняет всё), что на их петербургском дворце, Фонтанном доме, в котором, в дальнем дворе, Ахматова прожила без малого 30 лет. Дальше следовали два выходных, за ними Международный Женский день 8 Марта. Гроб выставили для прощания 9-го утром в подвале морга, людей — оповещенных — пришло с пол-

сотни. Прозвучали две или три короткие невыразительные речи. Гроб запаляли, похоронный автобус привез его и провожающих на зады Шереметьевского аэродрома. День был сумрачный, мглистый, по-мартовски пронзительно холодный. Внезапно появилась женская фигура в легком плаще и кедах — пианистка Юдина, она заметно дрожала. Сопровождающих тело в Ленинград было около десятка. Мы уже сидели, когда вошли представители Союза писателей, главный — автор гимна Советского Союза. В Пулково среди встречающих был Лев Гумилев. Когда гроб перекачивали с тележки в автобус, он вскрикнул коротко, без аффектации — «мамочка». Доехали до Никольского собора, там разрезали цинк, сняли крышку, священник отслужил первую панихиду. Утром 10-го народу пришло много, говорили что несколько тысяч, двор был полон, отпевали по полному чину. Затем гроб повезли в Союз писателей, я туда не поехал, знаю с чужих слов, что гражданская панихида вышла ожидаемо казенной. Мы своей компанией отправились в Комарово на электричке. Автобус долго ждали. Из-за наметенного снега он подъехать к самому кладбищу не мог, гроб понесли на руках. Еще коротенькая служба у могилы, опустили, забросали землей, поставили деревянный крест. Человек 20 пошло с кладбища в летнюю литфондовскую дачку Ахматовой, немислимо выстуженную, на улице было много теплее. Просто постояли, помолчали, не помню уже, выпили ли.

Это все более или менее известно, много раз повторено. Большинство описаний указывает, что официоз всячески принижал и само событие смерти, и похороны, и масштаб личности умершей. Вымученные характеристики в крошечных некрологах, пренебрежение к церемонии, трудности с получением места для могилы. Сейчас я бы сказал так: ее смерть была для властей очевидным неудобством. Как и жизнь, но жизнь они ввели в привычные им рамки: поносные оценки ее поэзии, постановление ЦК, арест сына, нищета. Ее ко всему этому приписали, она их условия приняла, с этим у них проблем уже не было. Но со смертью они не знали, что делать; по какому из установленных у них разрядов хоронить, не понимали. Похороны вообще такая вещь, что ей нет соответствия в земной действительности: ну, свалить, как Моцарта, в яму, ну, отгрохать мавзолей. В нечеловеческой действительности коммунизма тем более. Но это в десятую очередь. В те мартовские дни люди, хоть в какой-то степени одухотворенные, причастные к культуре, творчеству, понимали сознательно и чувствовали инстинктивно, что кончился редкостный двухвековой период истории и возврата к нему нет. Что в России нет ничего слаще — и важнее — говорения, и Ахматова последняя, кто мог говорить на одном языке не только с Пушкиным, а и с Державиным, и, бери глубже, с Петром. Что с ней ушел из жизни большой стиль. Если почестному, то стиль вообще. И величие человека — на которое больше не будет спроса.